

Иероним Ясинский

# Личное счастье



Иероним Иеронимович Ясинский

## Личное счастье

«Почтовая кибитка поднялась по крутому косогору, влекомая парюю больших, старых лошадей. Звенел колокольчик. Красивая женщина лет двадцати семи сидела в кибитке. Она была в сером полотняном ватерпруфе...»

# Иероним Ясинский

## Личное счастье

Почтовая кибитка поднялась по крутому косогору, влекомая парюю больших, старых лошадей. Звенел колокольчик. Красивая женщина лет двадцати семи сидела в кибитке. Она была в сером полотняном ватерпруфе [1].

Она с любопытством смотрела на дома, двумя рядами высившиеся по обеим сторонам шоссе. Дома были знакомы ей. Но губернский город производил впечатление необитаемого.

Некоторое оживление стало заметно, когда кибитка очутилась на Базарной улице. Было около пяти часов вечера, и по кривым, узким тротуарам лениво подвигался народ. Дамы в прошлогодних модах, молодые люди в матерчатых перчатках и с тросточками, евреи в ластиковых сюртуках, их жёны в шёлковых платьях и бархатных пальто, – всё это шло «в проходку», как выражаются провинциалы. Приезжая вспомнила, что сегодня праздник и, кроме того, «шабаш» – суббота.

Несколько лет не была она в городе. За это время город успел прославиться, и о нём по

временам говорилось в печати. Однажды он обратил на себя внимание тем, что голова его не отправился к новому губернатору с визитом. Либеральные газеты превозносили мужественного голову. В другой раз местный полицмейстер посадил в кутузку мирового судью. Консервативные газеты кричали по этому поводу, что власть начинает, слава Богу, становиться на ноги. Ещё раз прогремел город, когда загорелся скандальный процесс губернского предводителя дворянства, совершившего тьму растрат и подлогов. Писали о докторе Шаршмидте, открывшем первую гласную кассу ссуд. Корреспондент, чуткий ко всему, что знаменует собою прогресс, радовался, что местные жители избавились, наконец, от язвы тайного ростовщичества. «Мы вступили в новую эру», – объявлял он с гордостью. В последний раз о городе упоминалось по поводу многочисленных случаев самоубийств между молодыми людьми. В гостинице, в номере, застрелились гимназист и гимназистка, которым родители не позволяли венчаться, застрелился прапорщик, на которого накричал генерал, повесился чиновник

Иван Иванович Чуфрин.

Но, несмотря на известность свою, свидетельствующую по-видимому о кое-какой жизни, город нисколько не изменился за этот промежуток времени в наружном отношении. Те же магазины, те же облезлые тополи, те же невзрачные, сонные дома, та же пыль. Вывеска на земской управе, сверкавшая когда-то гордо и хвастливо, осыпалась, потемнела, и с недоумением смотрит на неё заезжий человек и читает: «...кая управа?»

Почтовая станция находилась в центре города, против бульвара. К середине лета деревья здесь почти усыхают. А так как был август на исходе, то бульвар совсем не представлял из себя ничего интересного. По нему бродили коровы.

Приезжая глядела на бульвар, и ей казалось, что пятнадцать лет тому назад он был приветливее. В её уме мелькнуло воспоминание о том далёком прошлом. Только что распустилась верба, склоны холмов обнажились от снега. В весеннем, тёплом небе горели крупные звёзды; на земле они дрожали в тихих лужах. Этот огромный четырёхугольный

собор, что направо, торжественно и ласково гудел своими колоколами. Она, в сопровождении старухи Антипьевны, шла с маленькой своей сестрой слушать «Деяния», и сердце её ныло невыразимо сладко. Ровно в двенадцать часов воскреснет Христос, радостно станут петь на клиросах, на бульваре зажгут смоляные бочки, она вернётся домой и скажет: «Христос воскрес, тамаа!» Она пришла в собор с твёрдым намерением молиться и быть солидной. Антипьевна повела детей на хоры. Но тут им стало ужасно смешно, и они хохотали на всю церковь, хоть и закрывали рот рукой. И сильнее сестры, трепеща как в лихорадке, хохотала она – старшая, к ужасу Антипьевны. То был счастливый смех, ликовало детское сердце! Смех никогда больше не повторился.

Кибитка остановилась. Невольно вздохнула молодая женщина, оставшись одна в комнате почтовой станции. Из окна виднелся всё тот же собор, незыблемый как скала.

## II

Станционный смотритель вежливо вошёл в комнату и, поглаживая седенькие височки,

сказал:

– Сударыня, позвольте узнать – вы не Лизавета Павловна Лоскотина?

– Да.

– Ваш дедушка был моим благодетелем, воспитал меня и в люди вывел, да и покойная маменька ваша, Нина Сергеевна, царствие ей небесное, не оставляла меня своими благодеяниями.

Он любезно вздохнул.

– Бывало, и курочку пришлют, и поросёночка к празднику, и мучки мешок... Помните меня?

– Извините, пожалуйста...

– Ну, да где же вам! Давно это было! А я вот сразу узнал вас, даром, что без подорожной. В старину всё по подорожным ездили, а теперь, как пошли железные дороги, то стали ездить без подорожных. Я знаю вас ещё этакой...

Он показал рукой.

– Что ж, Лизавета Павловна, – захотели город наш посетить? Где вы изволите жить теперь? Простите меня, старого болтуна, но только мне очень любопытно.

Он сел на кончин стула. Ей неловко было



отмалчиваться. Старичок, может быть, был единственным существом в городе, способным встретить её с таким радушием. С другой стороны, она была нерасположена говорить о себе. Она сказала:

– Не знаю, как и благодарить вас за участие. Но я ужасно устала. Я хотела лечь...

Смотритель подобострастно кивнул головой. Но он не уходил. Быстрые глазки его разбегались во все стороны. Он заметил, что волосы Лизаветы Павловны причёсаны по старомодному, что чемодан у неё маленький, со стальными и медными пуговицами, что она в перчатках.

– Должно быть, ненадолго? – вежливо спросил он и сладко сощурил глазки.

– Нет.

– Повидать кого?

– И повидать, и дело есть... Прошу вас извинить меня...

– Ничего, ничего! – обязательно произнёс старичок.

– Я уж вам сказала, что хочу отдохнуть, – несколько сухо заметила Лоскотина.

– А как же! Я вам подушку принесу! Отдох-

ните. Где ж Фаня, ваша сестрица? Замужем или так? Про Марью Павловну я не спрашиваю... Мы тут много о ней горевали... И как это угораздило её!? Вовлекли, разумеется. Мигилизм! А вот насчёт Фани... Боже мой, какая была девица, – и из себя пригожая, и бойкая!

– Она замужем.

– Слава Богу. За кем?

– За одним доктором.

– Ах, отлично! В Петербурге и вышла?

– В Петербурге.

– Ах, чудесно! Скажите, пожалуйста, Лизавета Павловна, чем же вы занимаетесь? Всё по прежнему?

Лизавета Павловна молча распаковала чемодан, и смотритель увидел, что в нём нет ничего, кроме белья и чёрного платья. Вынув оттуда простыню, Лизавета Павловна обернула ею свою дорожную подушку. Она хлопотала возле дивана, и ей, в самом деле, хотелось прилечь.

Смотритель поднялся с места.

– А мужики, которым вы землю пожертвовали, теперь первые пьяницы в уезде, – сообщил он с насмешкой. – Подушку я вам сейчас

принесу...

– Не трудитесь, не надо.

– Первые воры, первые негодяи... – продолжал старичок. – Это вы сделали ошибку, Лизавета Павловна, с сестрицей вашей Марьей Павловной. Добрые вы очень, в родителей, но только надо знать, кому благодетельствуешь.

Он улыбнулся, низко поклонился и, извинившись, вышел. Лизавета Павловна пристально посмотрела ему вслед.

Не прошло и получаса, и она только что стала дремать, как в комнату осторожно вошёл полицейский надзиратель. Смотритель глядел в приотворённую дверь, согнувшись и раскрывши рот. Лизавете Павловне пришлось показать свои бумаги. Всё в порядке. Она была как всегда народной учительницей и приехала на три дня в город, чтоб чрез нотариуса устроить продажу Лоскотинского городского дома, находящегося ныне в запустении и принадлежащего сестре её Фанечке. Надзиратель рассыпался в извинениях, сослался на долг службы и удалился. Смотритель сконфузился и больше не появлялся.

Дом Лоскотиных полгода всего ходил в наём. Стала протекать крыша, жильцы потребовали ремонта и бросили квартиру. Постепенно дом лишился железных болтов, замков, ручек у дверей. Соседи кругом бедные, а дом без хозяина, стоит на выезде, одинокий и угрюмый. Нужен гвоздь – идут в этот дом. Стекло надо – отправляются в этот дом. Ступеньки крыльца сорваны, потому что понадобились доски. Некому заступиться за дом, и слух о его беспомощности далеко распространяется среди неимущего населения города. Перед домом взад и вперёд всё чаще и чаще прохаживаются нуждающиеся хищники и голодным оком посматривают на его огромный остов, на котором уцелело ещё многое: гвоздей на крыше выйдет несколько пудов; досок, которыми обшит дом, не взять на десять возов; немало ещё целых стёкол; из громадных изразцовых печей можно сложить дюжину печечек; ставнями можно чудесно топить, – важно будет гореть сухое дубовое дерево. Словно гигантский зверь околел, и вся мелкота, лесная и болотная, которая при жизни и подходит близко к нему боялась, вылезла из своих нор и

растаскивает по клочку, по кусочку, по крупинке, кто сколько может, останки зверя. Ворон выклёвывает глаза, волк пожирает мясо, гиена выматывает внутренности. Близок день, когда от покойника останутся только обглоданные кости.

Лизавета Павловна ужаснулась, увидевши своё родное гнездо. Соображения нотариуса о том, сколько можно просить за дом, и за сколько его продать, показались ей снисходительными. Это было утром, часов в одиннадцать. Солнце ярко светило, и ещё безобразнее и угрюмее был дом при этом освещении. Одни тополи зеленели, мощные и бодрые, как те деревья, что растут на кладбищах.

#### IV

Скоро покончила Лизавета Павловна с нотариусом – скорее, чем рассчитывала. Ей хотелось уехать из города, ни с кем из прежних знакомых не повидавшись. Когда она была в городе пять лет тому назад, бывшие друзья показались ей чужими людьми; тем более чужие они теперь для неё. Они ушли вперёд по своей новой дороге, а она всё на одном месте, – она отстала от них и от века. Скромная

доля сельской учительницы, отдавшей всё своё время и все душевные силы на служение «мужику», сеющей доброе семя и терпеливо ожидающей новых всходов, не прибегающей к эффектам и громким словам, не требующей ничего лично для себя, никакого благополучия, и в любви к своему просветительному делу нашедшей счастье, – эта доля как бельмо на глазу у тех, кто живёт исключительно для себя, пошлым существованием... Если б она и пришла, её примут сухо, в особенности после этой мрачной истории с бедной, восторженной Мэри, которая предпочла блестящий, страшный подвиг, стоивший ей жизни, кропотливой, невидной работе. Но если б её встретили и с распростёртыми объятиями, всё равно – ей тяжело бы и противно было.

Но уж в то время, когда чемодан был застёгнут, и она собиралась в обратный путь, узнала она от нотариуса, что в городе живут Лозовские, которые поселились здесь в прошлом году. Лозовскую ей ужасно захотелось обнять, и она пешком отправилась к ней. Лозовская – другое дело. О Лозовской она сохранила светлое воспоминание... Во всяком слу-

чае, в атмосфере, которою дышала эта женщина, не уторишь.

С Сонечкой Лозовской – прежняя фамилия её была Свенцицкая – она сидела в гимназии на одной скамейке и когда-то крепко дружила с ней. У Сонечки была прекрасная наружность, быстро схватывающий ум, артистические наклонности. Она и рисовала, и лепила, и писала стихи. Художественный инстинкт подавлял в ней тогда общественный, но Лиза так любила Сонечку, что не ставила ей это в вину. «Служение искусству – уже само по себе общественное дело, – говорила она ей. – Вы, художественные натуры, взысканы особою милостью судьбы. Вам разрешается всё. Сонечка, будь знаменита и счастлива! Личное счастье художника никому не мозолит глаз». Она шутила, обнимала и целовала даровитую подругу и в то время представляла себе её будущее в виде светлого, благоуханного дня. И Сонечка захотела личного счастья. Она полюбила своего учителя, Лозовского, потом Чуфрина, женатого человека, чувствительного, но бесхарактерного – таким он казался, по крайней мере; и разыгралась, в конце концов,

какая-то история. Лизы тогда уже не было в городе. До неё дошли неопределённые слухи, и она им не поверила. Сонечку увёз к себе отец, и, как говорили, ей было очень тяжело у него; так что, когда Лозовский опять предложил ей руку, она вышла за него. Лизавета Павловна думала, что Сонечка всё же счастлива.

## V

Дом, в котором жили Лозовские, выходил на улицу боком, и он был похож на столб. Он выкрашен в тёмный цвет, крыша на нём огромная, красная. Забор и ворота очень высокие, а окна небольшие, тусклые. Цепная собака, с налившимися кровью глазами, яростно прыгала и хрипела возле своей будки, когда во двор вошла Лизавета Павловна, и, кроме того, на неё бросилось ещё несколько других маленьких собачонок, с визгливым и задорным лаем. Она отмахнулась от них зонтиком и посмотрела кругом – не видно ли кого, чтоб проводили её. Из кухни направо выглянула какая-то женщина в платке, зевнула и опять скрылась.

Лизавета Павловна постояла несколько



времени, и так как никто не показывался, то заключила, что ей нечего надеяться на постороннюю помощь. Помахивая зонтиком, она пошла вперёд и взобралась на лестницу при оглушительном лае и брёхе собак.

Цепь, на которой прыгал большой пёс, мерно звякала. Задыхаясь и хрипя, он раскачивался на ней как маятник и всё не сводил глаз с молодой женщины.

Наконец, она у дверей, – взялась за ручку и повернула её. Она вошла в галерею и опять увидела собаку, но огромную, с доброго телёнка, мохнатую и страшную, которая, однако, даже не заворчала, а продолжала спокойно лежать, сверкнув только белками.

У Лизаветы Павловны тревожно забилось сердце. Ей стало досадно, что Лозовские – такие собачники.

Тем не менее, она сделала вперёд несколько робких шагов. Собака молчит. Она подошла к двери, обитой войлоком, и, не сводя со зверя косога взгляда, постучала. Собака ни с места, только плотно прижалась к полу нижней челюстью. Лизавета Павловна постучала ещё, громче. Собака пошевелила хвостом,

вдруг широко раскрыла влажную пасть и ловко поймала надоедавшую ей муху.

Лизавета Павловна чуть не вскрикнула. Она сейчас же сообразила, что нет никакой опасности, и что собака умная, но всё-таки ей было страшно, пока настойчивый стук её не был услышан, и дверь не отворили.

Её встретила Сонечка и в полутёмной передней не сразу узнала. Но когда они перешли в гостиную, та бросилась ей на шею и заплакала, а затем поцеловала у неё руку.

– Лиза!

Лизавета Павловна была смущена, растрогана и не знала, что сказать. Ей было стыдно, что Сонечка поцеловала у неё руку. Но, конечно, у Сонечки нервное возбуждение, и вообще она, должно быть, сильно больна. Волосы у неё по-прежнему обильные, но потускнели, уже не такие золотые, и лицо пожелтело и сильно заострилось.

– Сонечка, дорогая, милая, что с тобою? – спросила её Лиза с испугом.

Но потом она подумала, что не надо говорить больным: «Что с тобой?» и произнесла:

– Так вы сюда переехали! А я только что из

деревни и уже назад еду. Я ужасно обрадовалась, когда мне сказали... Насилу добралась к тебе. Вот собак у вас! Это ужас! Ты стала любить собак? Впрочем, этот водолаз чудный...

Она была уверена, что огромная, мохнатая собака – любимица Сонечки, и этим хотела, не оправившись ещё от своего смущения и растерявшись от странной встречи, сказать подруге что-нибудь приятное.

Но Сонечка вскричала:

– Я их так ненавижу!.. Это моя стража!

Её бледно-синие, выцветшие глаза сверкнули, она закашлялась и прижалась к Лизе.

– Лиза, скорее... говори, голубчик! Говори... всё... сразу! А то он придёт...

Она с тоской взглянула на часы.

– У него теперь поверочные экзамены в гимназии. Через час, пожалуй, вернётся. Говори скорее всё!

Лиза почувствовала в груди щемящую боль.

«Бедная, что ж это, в самом деле, с нею?» – спросила она себя, и взгляд её невольно, с пытливым выражением остановился на подруге.

– Ах, Лиза! – отвечала Сонечка, поняв этот взгляд. – Да неужели ж ты ничего не слыхала?

– Слыхала, но, знаешь, я...

– Не верила? Как же, как же! Он мой благодетель! Он грех мой прикрыл и не может этого забыть. Лиза, он великодушен! – раздражительно протянула она и опять закашлялась, со слезами на глазах. – Говори всё! – крикнула она.

Лизавета Павловна, чтоб угодить ей, торопливо передала свою историю. Очень сократила её и многое пропустила. Рассказала между прочим, что была учительницей сначала в одной губернии, потом в другой, наконец добилась места в этой губернии. Она учительствует, и только. Везде она встречала наряду с гонением сильную поддержку. Все сочувствуют народу на словах, но и то слава Богу. Главное – создалась, наконец, атмосфера, в которой не чувствуешь одиночества. Незаметная, робкая связь существует... О Мэри, которую Сонечка почти и не знала, она промолчала. Да ей и мучительно было бы говорить о бедной Мэри.

Минут десять рассказывала она. Сонечка

жадно слушала, и на восковом лице её вспыхнул двумя пятнами густой румянец.

– Ты знаешь, – сказала она ей тихо, – ты первый живой человек, что я вижу с того времени. Я даже газет не читаю... Ах, то время! – вскричала она, сцепив руки и закинув голову в отчаянии. – Помнишь, ты разрешила мне одной личное счастье. Всё погибло, – прошептала она потом... – Лиза, будем же говорить! – сказала она через минуту, встрепенувшись. – Будем скорей говорить... Моя теперь очередь...

Она обняла Лизу и заплакала.

– Нет, зачем! – промолвила она сквозь слёзы. – Ты уже всё знаешь... Моя история коротка...

У Лизаветы Павловны задрожали губы, и она сделала большое усилие, чтоб самой не расплакаться.

– Да? По крайней мере, догадываешься? Посмотри, как я глупа! Никто не виноват – я сама в гроб легла. И лежу, и терзаюсь... Знаю, что гроб, и что можно сбросить крышку и уйти на свет Божий, к живым людям, а лежу! И буду лежать, пока в самом деле не умру. Как

это, однако, некоторые люди странно устроены! – заметила она после паузы, как бы с удивлением, и вытерла слёзы, зловеще кашлянув. – Не правда ли, Лиза?

– В самом деле, кто тебе мешает? – серьёзно и ласково сказала Лизавета Павловна и взяла её за руку. – Тебе надо в деревню, на свежий воздух, на молоко... Поедем ко мне, в мою избу. Будешь рисовать до осени, писать, книжки читать, а там поправишься и вместе сообразим, как дальше быть... Что муж? Да он и слова не посмеет...

– Лиза! – сердито вскричала Сонечка. – Ты его не знаешь! Не знаешь! – беспомощно заключила она.

Потом махнула рукой и сказала:

– Нет уж, куда!..

Лиза вздохнула.

«Вот оно, личное счастье!» – подумала она.

– Бываешь где-нибудь? – спросила Лиза по-другу.

– Нигде, – сказала Сонечка. – Он ревнив до отвращения и делает сцены. Иван Иванович... Чуфрин, тот, кого я любила, не знаю зачем... Ах, неправда, Лиза, я его ужасно люби-

ла, осмысленной любовью! Он умер... Нет его! А этот думает, что я ещё могу полюбить... Кого? Иногда он сам спрашивает ехать с ним в гости, но я – ни за что!

Она боязливо прислушалась.

На дворе звякнула цепь.

– Мне всегда кажется, что это моя цепь, – прошептала она, побледнев.

И ещё прислушалась.

– Это он! – молвила она, шёпотом. – Лиза, это он!

В галерее, куда из гостиной выходили окна, мелькнула фигура Лозовского. В передней он снял пальто и вошёл в комнату, окинув быстрым, подозрительным взглядом жену и гостью.

– Кто это? – спросил он невежливо и резко.

Лизавета Павловна хорошо знала его, потому что была его ученицей вместе с Сонечкой, и удивилась перемене, какая и с ним произошла за эти годы. В его чёрных волосах серебрилось много седины, он был теперь очень худ, и щёки его ввалились и тоже были жёлтые, восковые, как и у Сонечки, а глаза блестели тревожно и зло.

– Я – Лоскотина, – сказала Лиза, протянув ему руку.

– А-а, – проговорил он сухо, – помню! И много наслышан!

И коснувшись её руки холодными пальцами, опять окинул её и жену подозрительным взглядом.

Лизе стало неловко. Сонечка сидела на краю дивана, выпрямившись, и смотрела недовольно в угол. Лозовский молча ходил по гостиной торопливыми шагами, кусая губы и потирая руки. Так в молчании прошло минуты две.

Лиза, как бы продолжая прежний разговор, спросила:

– А рисование ты совсем бросила?

– Бросила и отлично сделала, – ответил за жену Лозовский, и в голосе его слышалась враждебная нота. – Скоро фотографию изобретут такую, что краски будет передавать.

– Ведь, ты и лепила, Сонечка?

– Подругу приехали проведать? – начал Лозовский, останавливаясь перед гостьей. – Так вы пожалейте её, коли любите! О прошлом прошу не говорить. Для неё вредно волно-



ваться... Какая там скульптура!.. Скульптура!..

Он зашагал.

Лиза вспыхнула. Она сделала движение и, должно быть, разразилась бы речью против Лозовского, если б не Сонечка, бросившая на неё умоляющий взгляд. Лиза оборвала себя на полуслове.

– Что вы хотели, сударыня, сказать? – опять начал Лозовский. – Два слова в защиту изящных искусств? Ха-ха-ха! Это просто из рук вон! Живопись, ваяние, стихи! А муж, позвольте вас спросить, что такое? Имеет ли он право требовать, чтобы жена шла с ним об руку, помогала ему, была хозяйкой дома, уважала его вкусы? Я ненавижу пустяки! Труд! В труде наслаждение! А захотела эстетики – вот тебе картины! Любуйся!

Он указал рукой на стены. В тоненьких багетных рамках висели олеографии, изображавшие одна – итальянского мальчика, другая – девушку, разбившую кувшин с молоком.

– А захотела скульптуры – вот тебе и скульптура!

И он сделал жест по направлению к этажерке, на которой стояли гипсовые Фауст и

Гретхен, пожелтевшие от времени.

Лиза хотела возразить, но Сонечка сказала:

– Это совершенно верно, Лиза.

Произнесла она эту фразу мёртвым голосом, прямо глядя на Лизу потухшими глазами. Лозовский следил за женой.

– Ну, вот видите, таково и её мнение; у нас одинаковые взгляды. Пожалуйста, не говорите с ней о прошлом, ещё раз прошу вас. Доктора запретили.

Лизавета Павловна встала и глубоким, проникновенным взглядом, полным любви и сострадания, посмотрела на Сонечку. Та потупилась, нахмутив брови.

– Вы хотите уходить? Подождите, я вас провожу! – сказал Лозовский обрадовавшись.

– Хорошо, если б ты осталась обедать, – робко начала Сонечка. – Но так как ты спешишь...

– Куда, в деревню? Вы ведь учительствуете? Счастливой дороги! – ласково заговорил Лозовский, и Лиза чувствовала, как он, подав ей руку, слегка тащил её к выходу.

В передней Сонечка и Лиза обнялись.

Грудь чахоточной женщины потряслась беззвучным рыданием. Их губы слились в прощальном поцелуе. Они обнялись ещё раз, но не имели силы взглянуть одна на другую и расстались – навсегда.

Ноябрь 1884 г.

# Примечания

# 1

водонепроницаемый плащ – *англ.*

[^^^]